

Валентин Распутин

СИБИРЬ БЕЗ РОМАНТИКИ

Это громадное пространство носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого, кроме Сибири, из него выйти не может.

В. К. Андреевич, историк Сибири

Слово «Сибирь» — и не столько слово, сколько самое понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещающая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался, теперь они постоянно быют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом гулком звучании уверенность и надежду, другие — тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемены, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и ее интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих — если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление.

В 18 веке говорили: «Сибирь — наша Перу и Мексика». В 19-м: «Это наши Соединенные Штаты». В 20-м: «Сибирь — источник колоссальной энергии», «край неограниченных возможностей». Как видим, меняется техническая вооруженность человека, меняются его потребности, меняются и характеристики Сибири. От богатств самородных, лежащих на поверхности и близ поверхности, до богатств глубинных и производительных — все есть в Сибири, каждому веку она угождала, и в оценках ее, от первых слухов до последних научно-экономических обоснований, постоянно видна превосходная степень. Но уже и теперь, когда Земля почувствовала признаки удушья, она оборачивается на Сибирь: «Это легкие планеты». Уже и теперь... Нетрудно понять, что будет первой и непреходящей необходимостью для человека через тридцать, сорок и пятьдесят лет и для чего Сибирь могла бы явиться воистину целебной и спасительной силой.

Мы привыкли к языку сравнений, но никакие сравнения ничего не скажут о Сибири. Мы можем сопоставлять лишь результаты освоения, дела рук человеческих, но не более. Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в виде аналога рядом с Сибирью. Кажется, она могла бы существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы — на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разнovidную и разнохарактерную, невозможно

обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и не открытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь — это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым, — в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди.

Слово «Сибирь» так и не расшифровано, точное этимологическое значение его не найдено. Для человека постороннего, знающего о Сибири лишь понаслышке, это огромный, суровый и богатый край — все как бы в космических размерах, включая и космическую выстуженность и неприютность. И в коренном сибиряке он видит скорее продукт загадочной природы, нежели такой же, как он сам, продукт загадочного человечества. Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет, это родина, дороже и ближе которой ничего в свете нет, нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите — нуждающаяся, быть может, в защите больше, чем любая другая сторона, потому что тут пока есть что защищать. И то, что пугает в Сибири других, для нас не только привычно, но и необходимо: нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге: немеренные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу. Разные взгляды на Сибирь — взгляд со стороны и взгляд изнутри — существовали всегда; пусть и сместившись, поколебавшись и сблизившись, остались они разными и теперь. Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорее и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Чтобы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опыненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это — воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких: это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь.

В сущности, опершись на Сибирь да еще на некоторые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе очень скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человеческий разум? Земля, как планета, все более и более устанавливается на этих четырех китах, ни один из которых нельзя сейчас считать надежным. И если слово «Сибирь» в своем коренном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать синонимом спасения. И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колонизация Сибири, в чем долго

упрекали старую Россию, обернувшись бы великой выгодой; и тогда русский человек не без оснований мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на Земле.

* * *

Но здесь имеет случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь не рассуждение, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предпринятого есть и была первою причиною к успехам россиян.

А. Н. Радищев. Слово о Ермаке

Сибирь, находясь на одном материке с Европой, отгороженная от нее лишь Уральским Камнем, который вполне можно считать доступным, была тем не менее открыта для цивилизованного человечества почти на сто лет позднее, чем Америка.

Конечно, смутные слухи о Сибири бродили по миру издревле и, конечно, русский человек, тот же неутомимый новгородец, и торговал, и промышлял в ее владениях, проникая туда и по суше, и по северным морям, но, считая это делом обычным, отчетов о своих самовольных проникновениях никому не давал, а опыт передавал сыновьям. Новгородцы знали Югру (так назывались северные земли к востоку от Урала) еще в 11 столетии, а может и раньше, впервые же слово «Сибирь» появилось в русских летописях в начале 15 века в связи с кончиной хана Тохтамыша, того самого Тохтамыша, который уже после Куликовской битвы в княжение Дмитрия Донского спалил Москву, но продержался у власти недолго и в результате междоусобных распр был убит «в сибирской земле».

Что до слухов о Сибири, время от времени возникавших в древности в Западной Европе, — столько в них было небылиц и сказок, что одних они отпугивали, у других уже и тогда вызывали усмешку. Со слухов же Геродот записывает в «Истории», имея в виду, очевидно, Урал: «У подошвы высоких гор обитают люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками». А дальше не может не усомниться: «Плешивцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьиими ногами, а за ними другие, которые спят шесть месяцев в году».

Иностранцам в древние и средние времена еще простительно, когда они считают, что глубины Азии заселены чудовищами с песьими головами или даже вовсе без голов, с глазами и ртом на животе, но вот ведь и русский письменный источник 16 столетия, того самого столетия, когда началось государственное присоединение Сибири к России, рассказывая о зауральской стороне, повторяет старые сказки, будто люди там на зиму умирают, а по весне оживают опять. Что удивляться: несколько лет назад в западном

Берлине меня спрашивали: «Что в Сибири делают зимой?», всерьез полагая, что зимой в наших краях можно только спать.

У П. А. Вяземского, литератора и друга Пушкина, о мнениях такого рода есть любопытные слова: «Хотите, чтобы умный человек, немец или француз, сморозил глупость, — заставьте его высказать суждение о России. Это предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его мыслительные способности». Тем более эти слова применимы к Сибири. И в Европу не надо ходить: Сибирь долго «опьяняла» и «помрачала» своего же брата, соотечественника, который во взглядах на нее нес (и несет еще иной раз) такую ахинею и околесицу, что остается теперь пожалеть, что не нашлось никого, кто собрал бы их для забавы в одну книгу. Однако ахинея эта не всегда оставалась безобидной и выражалась порой в указах, которые следовало выполнять.

Как в древности искал, так и сейчас человек продолжает искать чудеса, которые не совпадали бы с ученой упорядоченностью мира. Сибирь, надо полагать, одна из тех областей, где человеческий дух сомнения и противоречия испытал в свою пору немалое разочарование: и здесь, в сущности, то же, что и везде.

Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич. То, что и сам Ермак и его дружина были из казаков, значило очень многое. Казак — татарское слово, оно переводится как удалец, смельчак, человек, порвавший со своим сословным кругом. Казачество зародилось на Руси вскоре после свержения татарского ига и сформировалось в течение 16 века с усилением феодальной и крепостнической зависимости русского народа. Люди, не желавшие выносить никакого, в том числе и отеческого, ига, бежали от него в Дикое Поле, в низовья Дона и Волги, основывали там свои поселения, избирали атаманов, принимали законы и начинали новую и вольную, никакому царству, никакому ханству не подчиненную жизнь. Позже русскому казачеству пришлось-таки идти под цареву руку, потому что иначе ему было и не выжить, но тогда, в 16 столетии еще нет, тогда казаки сами себе были хозяева. Царские власти, играя на патриотических чувствах, могли использовать их против своих беспокойных южных соседей, против Турции, крымских и ногайских татар, но могли за самовольство или в результате дипломатических маневров с теми же соседями наслать на них карательные экспедиции — отношения между Москвой и вольным казачеством всегда были сложными, а в первое время в особенности. Одно хорошо: если России угрожала серьезная опасность, казаки считали своим долгом выступить на ее защиту, откуда бы эта опасность ни исходила, — или от ближней Турции, или от дальней Литвы. В Ливонской войне, как доказывают в последнее время историки, принимал участие накануне своего сибирского похода и Ермак Тимофеевич.

В покорении и освоении Сибири казаки сыграли роль исключительную, почти сверхъестественную. Только особое сословие людей дерзких и отчаянных, не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом смогло сделать то, что удалось им.

Говоря о фигуре Ермака, трудно не приостановиться и не отдать дань

нашей российской слабопамятливости и небрежению... После свержения татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и важного, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить не сколько раз. Только перед этим одним фактом наше воображение в растерянности замирает — словно бы застревает сразу за Уралом в глубоких сибирских снегах. Однако о Колумбе, открывшем Америку, нам известно все: и откуда он был родом, чем занимался до своего «звездного» часа; известно, когда, какого числа и месяца вышел в первое свое плавание, и во второе, и в третье, и в четвертое, когда достиг американского берега, когда флагманская «Санта-Мария» села на рифы и что было потом... Что Колумб! — о древнеримских императорах и патрициях мы помним больше, чем о Ермаке. Ну ладно, не мог он вести, как Колумб, судовой журнал, не было возле него, как возле Нерона, замышлявшего убийства, расторопного историка, но ведь не оказалось и совсем никого, кто бы понимал значение его фигуры и величие его похода. Это уж после спохватились, когда выяснилось, что не знаем ни имени Ермака, ни рода, не запомнили и не записали, в каком году выступил он против Кучума, сколько его отряд насчитывал казаков и чем помогли Строгановы, за один ли переход, как считает известный историк Р. Г. Скрынников, он добрался до столицы сибирского ханства Искера, или ему потребовалось возвращаться после зимовки обратно, а затем снаряжаться вновь. Строгановские летописи мы вынуждены подозревать в неточности именно потому, что они строгановские и могли преувеличивать роль этой фамилии в деле присоединения Сибири; на другой документ, на Синодик тобольского архиепископа Киприана, составленный спустя сорок лет после Ермака по рассказам оставшихся в живых участников похода, мы также смотрим с недоверием: уж очень хотелось преосвященному в интересах местной церкви сделать из Ермака святого и потому не подходящие для канонизации факты из его жизни он не задумался бы приукрасить или опустить. Не зря говорят: кто владеет настоящим, тот владеет и прошлым.

И вот уже не одно столетие мы гадаем: верно ли, что Ермак, как поется в народных песнях, до Сибири погуливал, подобно Степану Разину, по Волге и Дону да потрагивал не без корысти купеческие и царские караваны? Или народ, путая добродетели, награждает для пущей славы своего героя тем, что за ним не водилось? Спорим: Ермак — это прозвище или усеченная форма имени Ермолай? А может, от Еремея, от Ермила? Споры эти не прекращаются до сих пор. В 1981 году в Иркутске вышла книга А. Г. Сутормина «Ермак Тимофеевич», в которой читаем: «Итак, Ермак родом не с Дона, он уралец, с реки Чусовой. Его имя Василий, отчество Тимофеевич, фамилия Аленин... А Ермак только прозвище, кличка». В книге Р. Г. Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака» (Новосибирск, 1982 год) с той же уверенностью уже совсем иное: «Возможно, в строгановских вотчинах 16 или 17 веков и жил разбойник Василий Аленин, но к Ермолаю Тимофеевичу — историческому Ермаку — он не имел никакого отношения... Что же касается имени Ермак, то его следует рассматривать не как прозвище, а как сокращение полного имени Ермолай».

Едва ли теперь удастся открыть истину, если она не открылась рань-

ше, ближе к действительным событиям. Вероятней всего, придется Ермаку, «родом неизвестному, думой знаменитому» (Н. М. Карамзин) оставаться, как и прежде, Ермаком. Можно и расщедриться: мол, дело не в этом. Нет, отчего же — и в этом тоже. Не след нам гордиться, что от короткой памяти мы на короткой ноге со своими героями. Но нет, оказывается, и в этом случае худа без добра: среди воздаваемых ныне Ермаку почестей, которые приводятся в вышеупомянутой книге А. Г. Сутормина, есть и такая: «В молодом сибирском городе Ангарске спортивный коллектив химиков «Ермак», названный в честь первопроходца, успешно умножает свою спортивную славу». Полным да еще законным именем спортклуб химиков называть было бы несподручно.

Но тут уж, верно, дело не в этом. Народ русский во все четыреста лет, прошедших после легендарного похода, помнит, как:

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Во взгляде на первого сибирского героя и на его подвиг лучше всего, очевидно, следовать известными, проторенными историей путями. Поправки, которые предлагаются нынешними исследователями, не представляются настолько убедительными, чтобы их можно было безоговорочно принять. Так, едва ли есть основания обеливать Ермака в той части его биографии, которая относится к ватажной жизни на Волге, когда пытаются доказать, что не мог Ермак заниматься непотребным, «воровским» ремеслом. Его соратники могли, а он — нет. Не надежней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутье, которые редко раздавали понапрасну подобные доблести. Трудно, кроме того, предположить, зная те времена и нравы, чтобы человек, проводивший в Диком Поле не менее двадцати лет и ставший атаманом, уберегся бы от привычных для казачьей вольницы запятий. Как в песне:

Ты прими, де, Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!

Итак, Ермак со товарищи гулял на Волге, принимал участие в битвах и стычках, а род знаменитых купцов Строгановых поселился к тому времени на восточных рубежах Русского царства, по рекам Чусовой, Каме и Лысьве на Урале, завел там прибыльное солеварение, пашенное, промысловое и прочие дела и, не довольствуясь приобретенным, испросил у Ивана Грозного разрешение на земли по Тоболу и Иртышу. Дать такое разрешение Грозному ничего не стоило: эти земли ему не принадлежали, там хозяйничал хан Кучум, собравший воедино сибирские племена и насаждавший среди них ислам. Таким образом, с одной стороны, Строгановы поглядывали вожделенно на вроде бы принадлежавшие, а на самом деле не принадлежавшие им богатые просторы, а с другой — Кучум, набрав силу, все чаще стал тревожить отстроенные поселения. В этих условиях естественно, что Строгановы обращаются за помощью к казакам.

Нам теперь уже не узнать в точности, от кого исходила инициатива — от самого Ермака, когда ему понадобилось от греха подальше уйти с Волги, или действительно от Строгановых, решившихся наконец на серьез-

ные действия по отношению к своему восточному соседу, как не узнать, существовали ли у Ермака сомнения, идти или не идти ему тяжелым и опасным походом в Сибирь, но было бы жаль, если бы вместо Ермака против Кучума выступил другой человек. Уж очень подходящ для этой роли именно Ермак, человек из народа, словно бы самим народом отправленный в Сибирь и не оставленный им без славы. Он да еще Степан Разин стали вечными любимцами русского народа, олицетворением его давних вольнолюбивых устремлений. Но если Степан Разин искал своим бунтом воли на старых русских землях, Ермак открыл, как распахнул для воли земли новые, сказочные, не имеющие, казалось, ни конца и ни края.

Он выступил походом в зауральскую сторону в 1581-м, по другим предположениям, в 1579, в 1582 годах. При праздновании 300-летия этого события один из русских журналов писал: «Удивителен, конечно, подвиг Ермака, с горстью казаков овладевшего целым царством. Как ни превосходно ружье перед луком, все же не должно забывать, что саранча тушит целые костры, преграждающие ей путь, хотя и гибнет массами. Казаков было всего лишь пять сотен, а враг считал себя тысячами и при упорной защите отстоял бы себя, если бы во главе русских храбрецов не находилась выдающаяся способностями полководца и администратора личность Ермака и если бы внутренние узы, связывавшие сибирские племена, были крепче. Прославляя подвиг Ермака, нельзя не удивляться и тому, что простолюдин явился выразителем исторического закона, который двигал Русь к востоку в Азию и который продолжает вести ее в этом направлении до настоящего времени. Первый, основательный шаг за Уралом сделал Ермак, другие пошли за ним».

Эти другие свершили подвиг не менее удивительный.

* * *

Нет! Все, что мог сделать народ русский в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности. Покажите мне другой народ в восточной Азии, который бы в полтора столетия прошел пространство, больше пространства всей Европы, и утвердился на нем! Все, что ни сделал народ русский, было выше сил его, выше исторического порядка вещей.

Н. М. Ядринцев.

Непонятно, почему Н. М. Ядринцев, знаменитый сибирский писатель и ученый прошлого века, говорит о полутора столетиях, в которые народ русский прошел Сибирь и утвердился в ней. Очевидно, это относится больше к «утвердился», занял Сибирь во всю ее мощь и ширь и рассмотрел, где заводить пашню, где промыслять зверя, а где копать рудники.

Ермак овладел столицей сибирского ханства Искером осенью 1582 года, в августе 1585 года погиб в неравном ночном бою, после чего его остав-

пшийся в живых отряд вынужден был отойти, а уже в 1639 году енисейский служилый человек Иван Москвитин поставил на берегу Охотского моря зимовье, и русские вышли к Тихому океану, в 1648 году Семен Дежнев проплыл проливом, который отделяет Америку от Азии. Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые расстояния, тот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам, волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимую в ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках в незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника, страдая от холода, голода, болезней, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, грозившими оказаться придумкой, нередко в горстку людей, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли все вперед и вперед, все дальше и дальше на восток. Это после них появятся и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и записи «распросных речей», и опыт общения с туземцами, и пашни, и солеварни, и просто затеси, указывающие путь, — для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну. И сейчас, когда каждый шаг и каждое дело сибирских строителей и покорителей мы без заминки называем подвигом, нелишне бы помнить нам и нелишние бы почаще представлять, как доставались начальные шаги и дела нашим предкам.

«Он идет по тобольским лесам и нескончаемым снегам с тяжелой пищалью за плечами, выданной на время похода из воеводской казны. Он ищет новые соболиные реки, составляет чертежи. На лыжах он пересекает огромные снежные просторы, мчит на мохнатом гнедом коне, ведя второго в поводу, сидит на корме широкой плоскодонной лодки, и над его головой шумит парус из сыромятной кожи. Его подстерегают опасности. Он слышит, как поет, приближаясь к нему, стрела с черными перьями. Он не щадит себя в «съемном» — рукопашном бою, и раны его под конец многотрудной жизни нельзя сосчитать. Он спит на снегу, кормится чем попаало, годами не видит свежего хлеба, часто ест «всякую скверну» и сосновую кору. Ему много лет не платят государева жалованья — денежного, хлебного и соляного. «Поднимаясь» для прииска новых рек и земель, он все покупает на свои деньги, залезая в неоплатные долги, подписывая кабальные грамоты».

Так рисует портрет первопроходца сибирский писатель Сергей Марков, начиная свой очерк о Семене Дежнев. И это далеко не все напасти, которые подстерегают на длинных путях «добытчика» и «прибыльщика». Прибавьте сюда еще несправедливость и алчность воевод, таких, как якутский стольник Петр Головин; прибавьте лукавство и заспинные действия местных князьков, на которых нельзя было положиться; «правеж», «розыски» и доносы со стороны доглядчиков, без коих редко удавалось обходиться любой русской сколотке; борьба вплоть до боев, с отпавшими отрядниками, как у Хабарова с Поляковым или у Дежнева со Старухиным, — это все сверх суровости сибирской природы. Они и терпели кораблекрушения, и исчезали бесследно, не оставив о себе ни единой памятки, и зимовали не по разу в местах, называемых ныне полюсами холода, и теряли рассудок в полярных ночах... что и говорить! — Сибирь взяла с них свою дань сполна. Они выходили в пути крепкими и телом и духом казаками, готовыми к любым лишениям, из которых едва ли могли предвидеть и десятую часть, и они за-

канчивали их, кому удавалось закончить, людьми какой-то особой, сверхъестественной силы и выдержки, людьми, под которыми должна была проклоняться земля. После них подобных людей, кажется, уже и не случалось, они были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа. Потому что это было движение по большей части стихийное, народное, устремленное на свой страх и риск, за которым не всегда поспевали правительственные и даже воеводские постановления. Для осознания их изнурительного подвига не хватает воображения, оно, воображение наше, не готово следовать теми долгими и пешими путями, какими шли сквозь Сибирь эти герои.

Что же вело их на восток, что заставляло, пренебрегая мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходимость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, поставить им под ясак новые народцы. Вело, разумеется, и это, но будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те пятьдесят или шестьдесят лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горностаю не успели еще выбить и в «проведанной» части Сибири, а остроги, которые насех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности. Чего бы, казалось, разумней: как следует обустроиться: запастись в достатке провизией и провиантом, обеспечить, по-нынешнему говоря, надежные тылы, а затем не сдеша и наверняка двигаться дальше. Но нет, они спешат. А как, представьте, выдержать спокойную и разумную жизнь, как усидеть на месте, если, слышно от кочевников, впереди великая река Енисей, потом великая река Лена, по которой живет большой и мастеровитый народ (якуты), а затем реки и вовсе поворачивают встречу солнцу. Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осммотрительным, оставив родное «авось». Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее. Здесь было словно волеизъявление самой истории, низко склонившейся в ту пору над этим краем и выбирающей смельчаков, чтобы проверить и доказать, на что способен этот полусонный, по общему мнению, и забитый народ. Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие.

У нас не принято ставить памятники отличившимся городам. А было бы справедливо где-нибудь на просторах Сибири, предположим, на той же Лене, где к середине 17 века собрались самые деятельные «землесведыватели», выказать и подтвердить благодарную память сибиряков Великому Устюгу, городу теперь захиревшему, выпускающему гармоники. А в то время Великий Устюг, когда-то бросавший вызов самому Великому Новгороду, еще гремел, и величие свое он подтвердил в именах Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Владимира Атласова, Василия Бутра, Парфена Ходырева и многих, многих других, добывших себе по сибирским рекам, морям и волокам мужественную славу. Все они из Великого Устюга. Это не только удивления достойно, но кажется невероятным: что за оказия! как их там, в колыбели мореходов и открывателей, наставляли, чем укрепляли дух и кость?! Тут бы для гордости в веках хватило и

одного Семена Дежнева, открывшего «Берингов» пролив, «Одиссеей» Ерофея Хабарова почла бы за честь хвалиться любая столица, будь он из нее родом. А Атласов, покоритель Камчатки! А Поярков, «приискавший» огромные территории Северо-Восточной Сибири! И как знать, не из Устюга ли вышел и легендарный Пенда, поперед всех проникший на Лену из «златокипящей» Мангазеи? Не устюжанином ли был и Петр Бекетов, об одной из экспедиций которого И. Фишер в «Сибирской истории» писал: «Намерение свое он произвел с таким малым числом людей, что почти невероятно показалось бы, как россияне могли на то отважиться».

Кстати припомнить еще, что дважды в течение десятилетия (в 1630 и в 1637 годах) Великий Устюг вместе с соседями — Тотмой и Сольвычегодском — снаряжал в далекую Сибирь большие отряды девиц в «жонки» русским служилым людям. Как не считать после того сибирякам этот город своим родным, как не поклониться ему издалека кровным поклоном! Да и всей русско-северной сторонущке, где Новгород, Вологда, Архангельск и Вятка, следует поклониться: оттуда вслед за казаками пришли пашенные и мастеровые люди, оттуда началось первоначальное заселение Сибири.

Сибири суждено было войти в плоть и кровь России, так оно и произошло. Ермак острым и быстрым клином, как ножом, вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее прежней власти, казаки-первопроходцы, наскоро пройдя Сибирь насквозь, простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России. Но русской и оседлой Сибирь сделали не воины, не служивые, промысловые и торговые люди, а хлеборобы. Волны, которыми двигала нажива, накатывали и откатывали — за пушминой, мамонтовой костью, за золотом и другими драгоценными металлами — и, выбив, выбрав богатства, опустошив сибирские леса и по тогдашним возможностям сибирские недра, искатели скорого счастья уходили восвояси и распускали мрачные слухи о том, что Сибирь — страна мертвая и бедная, непригодная ни для удачи, ни для сытого житья. Всегда так — ограбленному спасибо не говорят. Не последние умы еще в прошлом столетии заявляли, удрученные малой, как казалось, производительной отдачей Сибири, что она, Сибирь, питаясь соками России, знает лишь отнимать силы у своей кормилицы. А пашенный человек, пришедший на эту целомудренно пустовавшую землю вслед за казаком, между тем распахивал степь или корчевал под поле тайгу и год от года сажал и собирал хлеб, растил детей, умножал семьи и делал теперь уже свой многотрудный край жилым и доступным. Мнения о Сибири менялись, интерес к ней то всыхивал, то снова пропадал, из золотого колодца она превращалась в нечто вроде мусорной ямы, куда сваливали всех мастей преступников и нежелательных для правительств людей, а он, крестьянин, знай себе работал да работал и тяжелым трудом и нелегкой жизнью роднился с Алтаем, Енисеем и Леной все прочней и прочней.

Этот тихий и незаметный, как прежде говорили, угодный богу труд сделал решающее дело. В конце концов Сибирь покорила тому, кто ее накормил. Уже через сто лет после Ермака она стала обходиться собственным хлебом, а еще через сто — не знала, что с ним делать. Интересно, что противники строительства через Сибирь железной дороги в прошлом веке выставляли одним из главных доводов опасение, что по этой дороге Сибирь

беспрепятственно завалит Россию своим дешевым хлебом, а России, мол, и собственного девать некуда.

Он, крестьянин, и прирастил окончательно Сибирь к России, сохой завершив огромное по своему размаху и по своим последствиям предприятие, начатое Ермаком с помощью оружия. И надо признать: Сибирь досталась России легче, чем можно было предполагать. Досталась как великая удача, как небывалый, по слову сибиряка, фарт.

* * *

Сибиряки умны, любознательны и предпримчивы.

Императрица Екатерина II.

Ум сибиряка всецело поглощен материальной наживой, его увлекают только текущие практические цели и интересы. Это холодный расчет и корыстные страсти подавили в населении всякое идеальное настроение и даже общественность.

А. П. Шапов.

Должно отдать справедливость Сибири. При всех недостатках, укоренившихся в ней от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых элементов, как-то: бесчестья, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия — она отличается какою-то особою широтою сердца и мысли, истинным великодушием.

Михаил Бакунин.

Если бы удалось собрать всю разногласицу высказываний вместе, выяснилось бы, что несибиряки отзываются о сибиряках лучше, нередко с восторгом, чем сами сибиряки о себе. И это тоже в характере сибиряка. Он скорее будет несправедлив, преувеличивая свои недостатки, чем достоинства, и он не станет скрывать разочарования в своих земляках и в своей родине, которые ему хотелось бы видеть совершенней и лучше,

Конечно, попав в другую природную обстановку, оказавшись среди аборигенов, коренных жителей этих краев, столкнувшись во многом с новыми условиями существования, сибиряк должен был отличаться от обитателя старой части России. Как европеец в Америке превратился в тип янки, так и русский в Сибири видоизменился в тип сибиряка, имеющего отличия и в психическом складе, и даже в физическом облике.

Сразу за Уралом вы встретите лица с азиатчинкой. Признано, что с самого начала русский в Сибири оказался превосходным колонистом. Правда, и здесь были попытки устроить по примеру Северной Америки рабство, материалом для которого послужило бы местное население, однако попыт-

ки эти мало сказать ничем не кончились, но провалились с треском, осужденные и правительством, и нарождающейся общественностью, и практикой переселившегося сюда простого мужика.

Что касается правительства, надо сказать, что во всех серьезных спорах между русскими и инородцами, оно, как правило, брало сторону последних. Так было и при Петре, и при Екатерине. Конечно, это не мешало воеводам и их людям нещадно обирать и унижать инородцев, но простой мужик, устроившись на новом месте рядом с бурятом или тунгусом, сразу и без труда входил с ним в дружеские отношения, передавая ему свой опыт пахара и мастерового и перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русским это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство и церковь. Еще в 1622 году московский патриарх Филарет взыскивал с сибирского архиепископа Киприана: «Ведомо нам учинилось и от воевод, и от приказных людей, которые прежде сего бывали в Сибири, что в сибирских городах многие служилые и жилецкие люди живут не христианскими обычаями, но по своим скверным похотям; многие де русские люди... с татарскими, и с остяцкими, и с вогуличскими погаными женами смешаются и скверная деют, а иные живут с татарскими некрещеными и деют с ними противность...»

Церковь, впрочем, не была последовательной в своих требованиях, и одним перстом запрещая смешанные браки, другим разрешала их при условии, если иноверцы пойдут под крест. Изредка присылаемых в жены из российских губерний партий девиц не могло хватить на весь огромный край, кроме того, русский мужик вправе был поступать по собственному выбору, поэтому ничего удивительного, что чем дальше в глубь Сибири, тем больше смешанных браков и тем чаще азиатчина в русских лицах. В Восточной Сибири, к примеру, едва ли не каждое четвертое или третье лицо — с раскосыми глазами и широкими скулами, что придает женской красоте новую очерченность и выразительную свежесть, отличающую ее от усталости и стертости красоты европейской. Сибиряк, получившийся от слияния славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью, быть может, как характер и не выделялся во что-то совершенно особое, но приобрел такие заметные черты, приятные и неприятные, как острая наблюдательность, возбужденное чувство собственного достоинства, не принимающее ничего навязанного и чужого, необъяснимая смена настроения и способность уходить в себя, в какие-то свои неизвестные пределы, иступленность в работе, перемежающаяся провалами порочного безделья, а также хитроватость вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от нее быть не может. Все это, возможно, еще не построено, во всем видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое, — природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца, но видно, что делом этим она занимается не без удовольствия.

Говоря о характере русского сибиряка, не лишне повториться, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной, и раньше тех, кого правительство направляло

«по прибору» и «по указу», сюда пробирались отряды «вольноохочих». В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков — религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной. Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал справедливого общинного закона, который бы противостоял административному гнету, и те, кто мечтал о сторонущке, где бы вовсе не водилось никаких законов. Рядом с авантюристом пагал праведник, рядом с тружеником — пустожил и пройдоха. Религиозный раскол 17 века двинул в Сибирь десятки тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером людей, которые отказались признать церковные и государственные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступную глухомань. Еще и теперь в наших лесах находят их поселения, где человек в языке, обычаях, верованиях, в одежде и способах существования остался таким же, каким он был триста лет назад. Можно удивляться фанатичности этих людей, но нужно удивляться и их жизнестойкости и твердости, выходящих за границы наших представлений об этих понятиях. Все сходилось в Сибири — и староверческая община, отличавшаяся чистой и крепкой нравственностью, противостояла здесь ссыльно-уголовному братству, которое держалось законами совсем другого рода. Н. М. Ядринцев отмечал: «Эти села потому и носят характер старины, потому в них видны сила и порядок, что главную массу их населения составляют раскольники. И в других раскольничьих селениях Сибири, где бы они ни попадались, в Восточной или Западной Сибири, видна та же порядочность, то же довольство во всем. Самая наружность жителей другого рода, точно они составляют особое племя. Красивые, полные, белолицые, свежие женщины в цветных, опрятных сарафанах, опрятные, почтенного вида старики, красивые парни; во всем порядочность, чистота и довольство».

И теперь человек из семейских, как называют староверов, вызывает даже и в сибиряке особое уважение и интерес: из семейских — значит, как правило, надежный товарищ и отменный работник.

Если бы это только были не остатки затухающей веры!..

В Сибирь всегда шло много народу и много возвращалось обратно. Были времена, когда она напоминала проходной двор — со всем тем неизбежным, как ведут себя люди в проходном дворе. В немалой степени это остается и сейчас. Огромные тысячи, которые постоянно, как прибой, накатывают на громкие сибирские стройки, накатывают, как и положено прибоем, с шумом, музыкой и впечатляющей мощью, по прошествии нескольких лет тихо и незаметно исчезают — словно уходят в песок. Опять новый прибой и новые тысячи и опять спячивающимися и потайными ручейками отлив, оставляющий на местах весьма небольшую часть прибывших. Объясняется это прежде всего устоявшимся отношением к Сибири: как быстрее и дешевле взять ее богатства. Забота о людях, в которой не приходится сомневаться, в сибирских условиях подчас соскальзывает на несколько порядков вниз, а поднимать ее с самого начала, с учетом этого соскальзывания, на несколько порядков вверх не всегда получается.

Нечего и говорить — жить в Сибири нелегко. Климат ее, ставший в последние десятилетия более капризным, то и дело подкидывающим сюрп-

ризы, когда под Новый год может зазвучать капель, а в июне пойти зимний снег, едва ли стал более мягким. Суровость и неуютность этих краев издавна устраивали строгий отбор колонистам и всевозможным покорителям. Чтобы прижиться и остаться здесь, нужно иметь дух сибиряка — не минуты подъема, а состояние постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям и неприятностям и умение преодолевать их без излишней затраты сил. Этот дух необязательно должен родиться в Сибири, он может развиться где угодно, но должен соответствовать Сибири, войти в ее общую атмосферу сопутствующим движением. Есть люди, ведущие свой род здесь не одним поколением, но так и не ставшие сибиряками, чем дальше, тем сильнее страдающие на чужой для них земле, и есть — кто словно создан для Сибири и, попав сюда, осваивается без особых трудностей. Так что сибиряк — это не только толстая кожа, привыкшая к морозам и неудобствам, и не только упорство и упорство в достижении цели, выработанные местными условиями, но также и неслучайность глубокая и прочная укорененность на этой земле, совместимость человеческой души с природным духом. Сибиряк редко изменяет своей родине; охота к перемене мест, ставшая повсюду эпидемией, у него замечается все-таки меньше и существует, как правило, в пределах своего родного края. Отчая земля, живущая в каждом из нас изначальным составом, в сибиряке существует более требовательной страстью — потому, быть может, что и досталась она с великими трудами, память о которых еще не затерялась в череде поколений.

Без упорства и упрямства, в которых нередко упрекают сибиряка, человек здесь не смог бы долго продержаться. Первым насельникам, основателям деревень и сел, в буквальном смысле пришлось отвоевывать в глубинной Сибири у тайги каждый клочок земли. Стоило чуть ослабить силы — лес наступал на отянутую у него распаханную полоску. Тайга стояла стеной, далеко над тайгой нависали горы, с которых никогда не сходят снежные шапки. Длинная зима выматывала силы душевные, короткое лето требовало вдвое больше сил физических. Среди лета ни с того ни с сего вдруг могли ударить заморозки и погубить урожай в тайге, в огороде и в поле на корню, зимой оголодавший зверь заходил в деревню и задирали домашнюю скотину, нападал на человека. В тепло угнетал гнус: комары, мошка да еще мокрец — крохотная, едва видимая ядовитая мушка, тучей налетающая в ненастье. Скот, донимаемый мошкой, пасся только ночами, днем стоял взаперти под дымокурор, люди работали в натянутых на голову волосяных сетках, под которыми трудно дышать, обмазавшись к тому же еще для верности дегтем. Все это от дедовских времен дошло и до нас: в моем детстве, в 40-х и 50-х годах, без сетки в среднем и нижнем течении Ангары нельзя было выйти на улицу и на две минуты, в 30-градусную жару (не до загара) обвязывались и закутывались в тряпки с головы до пят, чтоб — упаси господь! — не остался где лоскуток тела; вымазывались дегтем как черти, набивали в голенища сапог и ичигов траву, закрывая все ходы и выходы, — и помогало мало: ходили с опухшими глазами, с разъеденными, в кровавых полосах, руками и ногами.

Про наших комаров итальянец Сомье, побывавший за Уралом в конце прошлого века, писал: «Если бы Данте путешествовал по Сибири, то из комаров он сделал бы новую казнь для своих преступников». За двести и

сто лет до того и сто лет спустя комары здесь, кажется, мало изменились, лучше человека приспособившись в нынешнем веке и к дыму, и к угару, и ко всем остальным изменениям в их владениях.

Чтобы выстоять и не опустить руки, мало было иметь крепкие силы, надо было иметь еще и крепкий дух, дух гордого сопротивления и неубывающего упрямства: а все-таки выдержи, не уйду, все-таки я сильнее.

Не подправил ли бог этот край в Сибирь в самом конце своего творения, когда он усомнился в человеке? — вот как, озирая со своего поля растилающиеся перед ним неласковые дали, в скорбной гордыне мог размышлять в ту пору сибиряк.

Прибавьте к его несчастьям в прошлом еще одно зло — бродяг. Известно, что Сибирь — край каторги и ссылки, куда со всей огромной и законом не устроенной империи сваливали за всякую, большую и малую провинность, полагая это пользой для малонаселенного края. Почему-то принято считать (надо думать, по воспоминаниям, которые уголовники не пишут), будто сюда направляли едва ли не только политических ссыльных. Кстати, с политическими ссыльными, от декабристов и польских повстанцев до марксистов и большевиков, Сибири повезло, хотя сами они, оказавшись здесь, разумеется, не считали, что им повезло. Но добро есть добро, в каких бы обстоятельствах оно ни творилось, и для нашего темного в ту пору и малоизученного края их деятельность в науке, культуре и просто нравственном и личностном воспитании явилась огромным благом. Одно присутствие здесь декабристов, разбросанных в ссылке по всем просторам Западной и Восточной Сибири, имело на общественность такое влияние, что, вопервых, будучи во многих местах разрозненными умами, она стала общественностью и, во-вторых, обрела цели, которые в конце концов привели к открытию Томского университета.

Но Сибирь в основном была наводнена уголовниками. В некоторых углах их насчитывалось больше, чем местных жителей, и понятно, что ничему другому, как своему ремеслу, они их учить не могли. Дело даже не в развращении нравов; коренной сибиряк был достаточно устойчив, чтобы не поддаваться ему, — главная беда исходила от густого бродяжничества этих людей. Надзор за ними никуда не годился, убежать с места поселения было намного легче, чем выжить затем в дороге, поэтому человек, решившийся на побег, готов был на все — на воровство, на грабеж, на убийство. Это мы теперь, выпеваая жалостную песню о бродяге, который «к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет», сокрушаемся о его погубленной судьбе, — предок наш плакал от него горькими слезами. Он держал оружие не только против зверя, но и против темного человека, который в любой момент мог постучать в окно и потребовать все, что ему заблагорассудится. Надо ли удивляться после этого недоверчивости и скрытности сибиряка, его якобы недружелюбности и холодности? Да, недоверчив, холоден, приглядчив, но только поначалу, пока не изучит тебя и не поймет, что ты за гость. А разглядит, убедится, что ты зла не несешь, — и душа нараспашку, и этот же человек, который вот-вот, казалось, завернет тебя с порога, принимает и угощает как родного брата, без лишних слов и ненужных чувств, но хлебосольно, дружелюбно, с той искренностью и радушием, с которыми и должен радоваться в этом мире человек человеку.

О гостеприимстве сибиряков ходят легенды, быть может, несколько преувеличенные, имеющие, однако, немалые основания, чтобы им появиться и держаться.

Деревни и села по рекам отстояли друг от друга далеко и были небольшими, круг людей в них один и тот же, поэтому, истосковавшись в долгом таежном промысле и страдных делах по свежему человеку, сибиряк умел ценить общение и пользоваться им. Оно было для него как праздник. Да и просто отношения друг с другом, со своими соседями и односельчанами отличались основательностью и серьезностью. Сердце по пустякам на мелкие обиды и ссоры не сворачивали, а дружили — так дружили, враждовали — так враждовали, все в полную силу и по полной мере.

Без взаимовыручки и общинного духа обойтись здесь было труднее, чем где-либо в другом месте, и этот общинный дух, как ни странно, прекрасно уживался в сибиряке рядом со скрытностью и индивидуализмом: одно — для связей с миром понятным и привычным, другое — для всего, что представлялось посторонним и подозрительным и чего в Сибири хватало с избытком. Уходя из таежного зимовья, охотник обязательно оставлял сухую растопку, спички, соль, еду — мало ли в каких обстоятельствах может оказаться человек, который придет сюда вслед за ним. Этот закон неукоснительно соблюдался веками и стал исчезать только в самое последнее время. Для тех же бродяг, от которых сибирский старожил много страдал, он, запираясь на ночь, не забывал вынести на специально вырубленное для этой надобности в глухом заплоте окно кринку молока и буханку хлеба: поешь, путник, и следуй дальше. Выносил прежде всего из сострадания, а ум потом — чтобы отвести от своей усадьбы злую руку. И принято было отдавать последнюю копейку, когда по городам и селам, от дома к дому и от избы к избе незнакомые люди, пряча глаза, собирали «на побег товарищу».

Но больше всего на характер сибиряка повлияла сама Сибирь — как земля, как мир, в котором он жил и воздухом которого он дышал, как рождающая и несущая его родина. Подобно тому, как «в народах отражается их отечество» (А. П. Щапов), в человеке отражается его отчий край.

Нас могут подавить лишь то величие, та мощь, которые неестественно и резко выделяются среди всего остального, делая сравнение грубым и печальным. Когда же все в природе вокруг соразмерно, выдержано в одном крупном масштабе, это возвышает, в свою очередь, и человека. Генетика земли — вещь столь же изначальная и определенная, как и генетика крови. Ввиду великой природы и ее неослабевающего торжества человек невольно чувствовал себя значительным и сильным. Малолюдность увеличивала в нем это настроение: наше честолюбие проявляется не в общественной, а личностной роли. Огромные труды, затраченные, чтобы закрепиться и выжить на этой нелегкой земле, способствовали относиться к себе с уважением — как к величине того же порядка, что и все вокруг, и даже выше. Весь мир рядом дышал суровым достоинством и свободой, затаенной глубиной и крепостью, и во внешнем покое ощущалось пружинистое напряжение — сибиряк, естественно, перенял этот дух, и, наложившись в нем на стихию прадедовской вольности, он затвердел, пожалуй, чуть больше, чем

надо. Неверно, что сибиряк не общителен, но общительность его с равным носит характер соревнования и соперничества, с неравным — покровительства. И то и другое проявляется без нарочитости и принятой на себя роли, проявляется само собой, но всегда сибиряк помнит, что он сибиряк, и дает понять это другим. Гордость от своего природного происхождения доходит в нем порой до гордыни. Сейчас это качество, разумеется, сильно ослабло, но не утратилось совсем.

Важно еще, что здесь никогда не существовало крепостного права, давившего на человека и физически, и морально, лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его отношение к труду и вообще к жизни. Сибиряк привык полагаться на себя. Земли было вдоволь; сколько хочешь, сколько можешь — бери и обрабатывай. Административный гнет, тяжкий в городах, до деревни доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые опытный мужик не торопился исполнять. Русская поговорка: «На бога надейся, да сам не плошай» — имела тут прямой и практический смысл. И действительно, сибиряк не отличался глубокой созерцательностью и набожностью (кроме, разумеется, раскольников); расчетливый ум преобладал в нем над чувством, но преобладал не из корысти, а из самого состава здешнего старожила. Странно было бы искать в этом рожденном из постоянного сопротивления, закаленном в лишениях, «огнеупорном» духе расслабленность и размягченность, свойственные жителю степной России. Но это говорится уже не в достоинство сибиряку, а для того, чтобы показать, что в нем есть и чего нет. Он и голову задирает, глядя в небо, как на могущественного соседа, мечтая верой приспособить его для себя и своего хозяйства.

Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что могло произойти с человеком, за которым долго не поспевали ограничительные законы.

Но, размышляя о сибиряке как о выделившейся благодаря отбору и местным условиям русской ветви, не следует забывать, что он расселился на огромных территориях, происходил из различных социальных групп и только поэтому уже не мог быть одного лада и одного покроя. Алтаец, выходец из сурового раскола, и забайкалец, предок которого сослан был в рудники, или прямой потомок вольного казака на берегах Енисея — все они мало походят друг на друга. И потому всякие попытки вывести из сибиряка нечто единое и общее имеют весьма приблизительные очертания.

Впрочем, на то он и сибиряк, на то она и Сибирь, чтобы не поддаваться полному извлечению из себя и остаться вещью в себе.

Мы любим иной раз сказать не без гордости: «Сибирь — Россия больше, чем Россия».

В этих словах, появившихся не сегодня и ставших поговоркой, нет и намек на противопоставление или на спор. Сибирь и Россия — одно целое, Сибирь без России не существует, и пускаться по этому поводу в доказательство нет необходимости. Речь о другом. Быть может, из ложного патриотизма, а быть может, из сдвинутых в свою сторону наблюдений, но хочется верить, что некоторые качества русского человека сохранились в

сибиряке полнее и лучше. Заслуги в этом мы себе не берем, так сложилось, и не может быть, чтобы чувства наши совсем не имели под собой никаких оснований. Еще в прошлом веке отмечалось: «Сибиряк-крестьянин представляется тем русским человеком, каким он был в России древле, до появления кабалы, холопства, крепостного права; природные свойства русского земледельца получили здесь свободное развитие» (С. Я. Капустин).

Можно припомнить в этой связи, что всякое иностранное влияние, будь оно немецким или французским, которым, как пожаром, загорались прежде время от времени российские столицы, добравшись за тысячи верст на лошадаках до Томска или Иркутска, неминуемо покрывалось сибирским куржаком и переходило на крепкий сибирский «диалект». Можно сослаться на традиционную недоверчивость сибиряка, который не вдруг бросится исполнять погоняющие друг друга указания, дотошливо примериваясь, будет ему от них польза или нет. И можно, внимательно присматриваясь к сибиряку, заметить, что при всех потерях, случившихся в его характере в последние десятилетия, он остается все же в границах более или менее здоровой морали и искренних отношений, что по нынешним временам ой как не худо. Но самое важное: русский человек (как и всякий другой в своем изначальном национальном замесе), чувствующий себя вполне русским и вполне человеком лишь среди создавшей его материнской природы и потерявшийся там, где связь с нею нарушена, в Сибири все-таки имеет пока возможность жить среди родных степей и родных лесов. Хотя и приходится оговориться, что возможность эта с каждым годом стесняется и уменьшается, а если и действительно удастся совершить поворот сибирских рек, она, бесспорно, исчезнет совсем.

Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его «сибирская порода» сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие. Бесследно ничто не проходило — ни каторга и ссылка, ни массовое переселение крестьян после освободительной реформы и до начала первой мировой войны, когда в Сибирь перебралось четыре миллиона человек — почти столько же, сколько в ней было своего населения. Лишь крепкие, устоявшиеся нравы, не без помощи матушки-природы, в течение десятилетий смогли воспитать из них сибиряков. При этом важно еще, что переселенец приходил сюда на постоянное житье и волей-неволей вынужден был считаться с местными писаными и неписаными законами. Когда же тридцать и двадцать лет назад началось новое «покорение» Сибири и хлынули на стройки могучие призывные волны, для них этого препятствия уже не существовало. Молодежь ехала сюда прежде всего как на строительную площадку, откуда, сделав свое дело, научившись ремеслу и заработав на семью, в любой момент могла уехать — как оно чаще всего происходило и происходит. Быть может, у возвращающихся из Сибири и остается к ней теплое чувство, которое они увозят с собой, но на месте они оставляют легкое и стороннее отношение к земле, на которой им временно довелось работать и которая так и не стала для них родной.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И перед числом временных и сезонных людей коренной сибиряк вынужден был посторониться. Он и пашет, и строит, и рубит, и добывает,

доля трудов его в происходящих в Сибири переменах гораздо больше, чем это может показаться по газетам и журналам, привыкшим выбирать героев среди иностранных, но все он делает как бы вослед, увлекаемый мощными хозяйственными и индустриальными потоками. Он словно бы инстинктивно, по чувству и долгу сибиряка, выбирает место, откуда способней и легче будет порадеть о родной для него земле.

И в городе, и в деревне он сильно изменился, теперешний сибиряк. Но он все еще сибиряк, и тем сильнее он тоскует о потерянных своих качествах (для примера можно сослаться на героев книг и фильмов Василия Шукшина), чем больше они были необходимы ему для крепости и надежности в жизни. Но именно это и дает надежду, что за оставшееся в нем «путро» он станет держаться со свойственными ему упорством и упрямством.

* * *

А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом.

И. А. Гончаров.

Холодные и дикие просторы!..

Как давно были сказаны впервые эти слова и были ли они сказаны кем-то, или они всегда беззвучно и властно, как дух, стояли над Сибирью, выпуская на человека путешествующего тоску и тревогу? Ибо если и были они сказаны, то человеком путешествующим, заранее робевшим перед теми огромными расстояниями и тяжелыми испытаниями, которые ему предстояло преодолеть. Он переезжал Урал, останавливался перед пограничным столбом, исписанным прощальными, раздирающими душу надписями каторжников и просто людей, не ждавших впереди ничего хорошего, потом трогал дальше, но впечатление, оставленное надписями и усиленное собственной печалью, овладевало им надолго. Медленно и томительно стягивались назад версты, одна и та же стояла перед глазами картина, как казалось ему, унылая и безжизненная, сквозь которую донимавшая его разбитая дорога напоминала дорогу в ад. А тут еще по ней, по этой дороге, колонны несчастных — то арестантов, то переселенцев, ищущих доли, оборванных и напуганных, а тут еще встречный краснорожий лихач понужнет без причины злым словом — все как на обороте нормальной человеческой жизни, все как в лихоземье, как на оставленной без благословения чужбине, которой никогда не обогреться и не обласкаться и которую нельзя представить для кого-нибудь желанной родиной.

С этим настроением и ехал путешественник и день, и два, и три, сквозь тяжелое раздумье заметив однажды, что небогатый лес по сторонам дороги сменился стеною. Но и она надолго застыла в своем однообразии, и она казалась бесконечной, не способной вызвать теплое чувство. Ее приходилось лишь терпеть и ждать, что будет дальше, и в худшей, но новой картине надеясь найти облегчение для изнуренного взгляда.

И оно, облегчение, действительно наступало. Очнувшись, как от глубокого сна, путник вдруг отмечал с удивлением и отрадой, что и утомившие его колки, и все чаще и смелей выступающие из непроезжих краев леса с сосной и лиственницей, и сама земля, постепенно теряющая ровную стать,

начинают волновать его все сильнее и сильнее, все ощутимей рождая в нем отзыв как бы на изначально заказанную встречу. И он уже не понимал, отказывался понимать, почему мог он равнодушно смотреть по сторонам, что случилось с ним, если отворачивался он от этой редкостной красоты.

Антон Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадях в конце прошлого века Сибирь в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея. «Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удастся памяти сохранить от первых двух тысяч верст». И даже женщина — «женщина здесь так же скучна, как сибирская природа». А подъехав к Енисею, ахнул: «...в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея». И следовал дальше в восторге и от сумрачной бесконечной тайги, и от рассказов бывалых людей об охоте и жизни.

Другой русский писатель И. А. Гончаров, за сорок лет до Чехова проезжавший Сибирь в своем кругосветном путешествии с противоположной стороны — от Охотского моря, после богатых и тучных тропических красот, после Китая и Японии, поначалу едва выносил стылые и раскрытые просторы Северо-Восточной Азии. Но неподалеку от Лены восторженно и он. И даже от зимней, укрытой снегами и льдом, даже от безжизненной в эту пору великой реки отыскалось в уставшем путешественнике свежее чувство восторга и проникновения, с которым он, называя себя романтиком, и продолжал путь.

В обоих случаях так оно и должно было случиться. С какого края к ней ни подъезжай, Сибирь не торопится раскрываться, и лучшие свои творения с любовью и вкусом она расположила в глубине. Впрочем, это еще и вопрос: что считать лучшим? И два человека не сойдутся здесь в одном мнении. Мне, как жителю срединной Сибири, представляется, что лучшее — подле Байкала, Саян и Енисея; алтаец станет уверять — что у него, на Алтае; чукча — что оно по берегам холодных северных морей. Каждому из нас мила своя родина, вот еще качество сибиряка: горячий патриотизм. Но сейчас речь идет не о местных мнениях, а об общем и, по возможности, беспристрастном взгляде на Сибирь, как на страну, которую творила Природа.

Уверен: те же самые картины, которые при въезде в Сибирь показались нашему путешественнику унылыми и безрадостными, на обратном пути преобразятся до такой степени, до того станут и уместными, и притягательными, и способными сильно подействовать на эстетическое чувство, что он возьмется оглядываться в недоумении: полно, да это, наверное, другая дорога. Нет, дорога та же самая и те же самые картины, измененные, быть может, лишь следующим временем года, но путешественник уже не тот. Он уже побывал в Сибири, он многое повидал, поразившее его воображение, сибирские впечатления и в нем самом открыли какие-то новые и славные просторы, о которых он прежде не подозревал.

Сибирь имеет свойство не поражать, не удивлять сразу, а втягивать в себя медленно и словно бы нехотя, с выверенной расчетливостью, но, втянув, связывать накрепко. И все — человек заболевает Сибирью. После сибирской язвы, теперь, кажется, не существующей, это самая известная болезнь: всюду после этого края и долго человеку тесно, грустно и скорбно, всюду он

истягивается мучительной и неопределенной недостаточностью самого себя, точно часть себя он навсегда оставил в Сибири.

В нашей природе все мощно и вольно, все отстоит от себе подобного в других местах. В Западной Сибири равнина — так это равнина, самая большая и самая ровная на планете, болота — так болота, которым и с самолета нет, кажется, ни конца и ни края. Восточносибирская тайга — это целый материк, терпящий, к слову сказать, и самые страшные бедствия в своей жизни от вырубок и пожаров. Реки — Обь, Енисей, Лена — могут соперничать лишь между собой. В озере Байкал пятая часть пресной воды на земном шаре. Нет, все здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал всевышний сотворение Земли и повел его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить.

Но это о размерах, об объемах, а что сказать о сибирской красоте? И разве возможно, к примеру, выразить словом хоть приблизительно что-нибудь, достойное его, о Байкале? Любые сравнения, любые слова будут лишь слабой и блеклой тенью. Если бы не могучие, под стать ему, Саяны рядом, не Лена, берущая неподалеку свое начало, не Ангара, несущая байкальскую воду к Енисею, можно было бы решить, стоя на берегу этого чудо-озера и глядя на его ближние контуры и воду, на его краски и озаренность сверху, от которых даже и не тает, а обмирает в глубоком обмороке душа, — можно было бы решить, что Байкал случайно обретен с какой-то другой планеты, более радостной и богатой, где с тамошним жителем он был в полном согласии. С тем же чувством смотришь на Телецкое озеро на Алтае. Эталон красоты европейской — Швейцарию — к горному Алтаю подставляют особенно часто, природа здесь не просто живет, а царствует безбрежно и всевластно и, словно устыдившись своих высот — высот не над уровнем моря, а над уровнем человеческого восприятия, начинает от великодушия спускаться вниз, с державной легкостью снося свои богатства, чтобы, как зримые божественные звуки, прозвучали они зазывно и ободряюще. Не случайно именно здесь, на Алтае, два столетия подряд искали русские люди таинственное Беловодье, легендарную страну, устроенную, как рай земной, где они могут зажить в полном счастье. Искали и, по их представлениям, находили, приводили сюда из Европейской России, с Урала и из Сибири равнинной своих земляков, начинали строиться и пахать — было же, значит, в этих местах что-то особенное, не рядовое, что заставляло смотреть на них с благословенной надеждой. И все здесь могло быть как в раю — да подводил человек, добравшийся со своими привычками, законами и установлениями в любую глухомань.

Сибирской Швейцарией называют и Минусинский район на южной границе Западной и Восточной Сибири в Красноярском крае. Если есть в Швейцарии или где-то в теплой Европе невеста как попавший туда уголок Сибири, тогда объяснимо: их перепутали, и то, что предназначалось Европе, очутилось здесь по счастливой случайности. Везде вокруг Сибирь как Сибирь, а в минусинской котловине на удивление созревают арбузы, дыни; помидоры вырастают настолько крупными, что с ними едва ли могут соперничать и южные плоды.

Впрочем, у нас немало таких вкраплений несибирского, казалось бы, характера. На Байкале есть уголок по реке Снежной, где рядом с лиственницей и кедром соседствуют неохватные реликтовые тополя и голубые ели. О Байкале лучше не заводить разговора. Здесь слишком много всего, от простейших растений до крупных животных, существует в единственном, нигде более не повторяющемся виде, а если и повторяющемся — в этом краю по природным законам быть не должном. Откуда, как — непонятно. Ученые, продолжая открывать их, продолжают и недоумевать. Не все знают, что в некоторых благодатных байкальских местах солнечных дней в году больше, чем на южных курортах (недавно я прочитал в одном солидном издании, что Иркутск по количеству получаемого солнца после Давоса занимает второе место в мире), а вода, в самом Байкале постоянно холодная, ледяная даже и летом, в заливах нагревается выше двадцати градусов. И как не предположить тут, что все эти объяснимо и необъяснимо удачные исключения для того и подставлены, с той заведомой целью и созданы, чтобы подсказать человеку, что ему делать, в какую сторону преобразовывать Сибирь, если она покажется скупой и неуютной.

Как и все в Сибири — как человек, земля, климат, — сибирская природа не может быть всюду на одно лицо. Представьте только расстояния, о которых пришлось бы говорить, чтобы выразить их общим понятием. И лишь зимой все в ней из конца в конец оцепеневает в одной тяжелой неподступной думе. Оголенно и стыло лежат белые равнины, успокоенно, как оставленные пограничные преграды, выступают из снегов и склоняются под снегами горы, дремлет в набрякшем морозном узоре тайга, закрываются льдом озера и реки. Все обращено внутрь себя, все заморожено одной исполинской охранной силой. В эту пору хорошо понимаешь, откуда в прошлом могли возникнуть легенды не только о засыпающих на зиму людях, но и о замерзающих в воздухе, не долетевших до слуха слова, которые с весенним теплом способны оттаивать и звучать сами по себе, вдали от сказавшего их человека.

В Сибири легко поддаться мистическому настроению.

Весна у нас — это еще не весна, как ее принято всюду понимать, а добрых два месяца только раскачивание зимы: тепло-мороз, тепло-мороз, пока не свернет наконец на устойчивое тепло. И тогда торопится оттаять и расцвести, распуститься и зазеленеть все вокруг наперегонки. В северных широтах это похоже на выстреливание лета: еще вчера было разорно и голо, еще только приготавлилось к переменам, а сегодня уж завылгидывало отовсюду дружной всхожестью, завтра — загорится полным летним заревом. И заполыхает красотой яркой и отчаянной, не способной на оглядку: как медлительна зима, так торопливо лето. Только-только начало августа, а уж оно на свороте и заходит в него по-свойски, как домой к себе, осень. С тем и живет лето: с одной стороны поджимает холодная весна, с другой — осень.

Зато осени стоят долгие и тихие. Конечно, год на год не приходится и бывает по-всякому, бывает, что и этой поре не удастся задержаться, но чаще всего, рано наступив, она поздно и отступает, давая возможность всему живому в природе, отстрадавав, отдохнуть и понежиться под солнцем. И не редкость: обманутые неурочным теплом, во второй раз за сезон набухают поч-

ки и расцветает по склонам гор багульник, любимый сибиряками кустарник, по виду неказистый, корявый, но так радостно, так самозабвенно цветущий фиолетовым или розовым роспуском. И подолгу горят-дорогают леса, пламенея широким разбросом осенних красок, здесь особенно чистых и сияющих, высоко и радужно наполняющих собой воздух.

«Горят», «полыхают», «заревом», «пламя» — это не из страсти к пожарной лексике. Так оно в Сибири и есть. Сибирской природе не свойственна ленивая и сытая красота южных мест, ей приходится, повторюсь, торопиться, чтобы успеть расцвести и отцвести, принеся плоды, и делает она это с выверенной стремительностью и скоротечным, но ярким торжеством. Есть у нас цветы, которые за Уралом не растут, они так и называются: жарки, огоньки. В июле, когда они распускаются, сочным, праздничным заревом озаряются таежные поляны, и ничем нельзя поколебать впечатления, будто от них ощутимо доносит тепло.

Итак, стремительность в одно время года и медлительность — в другое, с неровными и непрочными в своих границах переходами — это и есть Сибирь. Порывистость и оцепенелость, откровенность и затаенность, яркость и сдержанность, щедрость и сокрытость — уже в понятиях, имеющих отношение не только к природе, — это и есть Сибирь. И, размышляя об этих двух едва ли не противоположных началах, вспоминая, как велика, разнообразна и не проста Сибирь, с той же порывистостью кидаешься вслед беспокойному зову и с той же сдержанностью приостанавливаешься: Сибирь!..

Слишком многое сходится нынче в этом слове.

И так хочется из этого огромного и сложного клубка связанных с Сибирью противоречивых надежд и устремлений, так хочется добыть из него, как волшебное жемчужное зерно, одну простую и очевидную уверенность: и через сто, и через двести лет человек, подойдя к Байкалу, замрет от его первозданной красоты и чистых глубин; и через сто, и через двести лет Сибирь останется Сибирью — краем обжитым, благоустроенным и заповедным, а не развороченным лунным пейзажем с остатками закаменевших деревьев.

* * *

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его Родины. Мы невольно несем в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертие Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиною неопалимо мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надежную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек, оставит ненужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалеких времен, возьмется наконец не на словах, а на деле радеть о счастливо доставшейся ему земле.

Это и будет исполнением Сибири. Таким и должен быть сибиряк, житель молодого и славного края, — края, имеющего право на свое будущее.